



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Саня Лютый

18+

Саня Лютый

Кормилица

<https://litres.ru/74664623>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Кормилица» — атмосферный биологический хоррор с элементами научной фантастики и триллера. Обычный дачный посёлок превращается в место заражения неизвестным паразитическим организмом. Странные слизи, подозрительный компост, исчезающие животные и изменения в поведении людей постепенно складываются в смертельную угрозу.

В центре истории — медсестра Вера, которая пытается спасти дочь и разобраться в происходящем.

Содержание

ПРОЛОГ.	4
ГЛАВА 1.	10
ГЛАВА 2.	21
ГЛАВА 3.	32
ГЛАВА 4.	40
ГЛАВА 5.	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Саня Лютый

Кормилица

ПРОЛОГ.

13 сентября 2031 года

— Я вас через поля проведу, — сказал водитель и свернул с трассы, не дожидаясь, что я на это отвечу. — Там ремонт на двенадцать километров, навигатор показывает час двадцать. А полями мы за сорок минут выскочим на озёрскую дорогу.

— Через какие поля?

— Да тут посёлок был какой-то, его закрыли, а дорога через него осталась. Навигатор её знает. Я год назад тут возил, нормально проехали.

Ксюша на заднем сиденье сидела в наушниках и смотрела в телефон, и по её лицу я видела, что она слышит каждое слово, потому что слушать музыку и слышать всё вокруг она умела с одиннадцати лет. Я хотела сказать водителю, чтобы он возвращался на трассу и стоял в этом ремонте хоть до вечера, и не сказала. Мы ехали в интернат к человеку, которого нельзя было оставлять одного больше чем на месяц, а месяц уже прошёл, и час двадцать в пробке с Ксюшей, которой в жару делается плохо, были для меня хуже любых полей.

Асфальт кончился, пошла грунтовка, укатанная, с глибо-

кими колеями от тяжёлых колёс, и я подумала, кому тут ездить на тяжёлых колёсах, если по сторонам одно скошенное поле. Дорога поднялась на холм, вошла в берёзы, и за берёзами стояла сетка. Водитель затормозил так, что Ксюша въехала лбом в моё кресло.

— Ну здравствуйте. — Он смотрел на ворота. — Год назад тут проезжали.

Сетка была обычная, рабица на бетонных столбах, с колючкой поверху, и она уходила в лес в обе стороны, сколько было видно. Ворота висели на двух замках. На воротах белела табличка в красной рамке, выгоревшая, в потёках: «Санитарная зона. Проезд и проход закрыты. Сбор ягод и грибов запрещён», и ниже стояли номер постановления и телефон. За воротами дорога шла дальше в гору, и там между берёзами стояли крыши, нормальные крыши, металлочерепица, одна синяя, одна с башенкой, и по этой башенке я узнала место раньше, чем дочитала табличку.

Три года я ездила в интернат другой дорогой, длинной, через Коломну, и платила за это лишних полтора часа, и ни разу не объяснила Ксюше, почему.

— Мам, — сказала Ксюша сзади. — Это она?

— Сиди. Разворачивайтесь, пожалуйста.

— Поехали отсюда.

— Сейчас поедem.

Водитель не разворачивался. Он вылез из машины, потянулся, хрустнул спиной и пошёл к воротам читать табличку,

и я вылезла за ним, потому что с этой стороны сетки земля была та же, что и с той.

— Санитарная зона, — прочитал он. — Это что, радиация?

— Химия. Отравление. Давно было.

— А, слышал. Это где люди потравились? Там мастерская была подпольная, по телевизору показывали.

— Я не смотрела.

Он пошёл вдоль сетки, разминая ноги, и остановился, и присел, и я увидела, над чем он присел, за секунду до того, как он это сказал.

— Вы гляньте, какая клубника. В сентябре! Одичала, а ягоды как с рынка.

Она росла вдоль сетки с обеих сторон, под самыми столбами, кусты пролезли под рабицей и расползлись по канаве и по дороге. Листья уже порыжели, а ягоды висели крупные, тёмные, и каждая лежала на земле мокрым боком, хотя дождя не было с понедельника и трава вокруг стояла сухая.

— Не трогайте.

— Да что ей будет. — Он сорвал самую большую, у самого столба. — Я в детстве с грядки ел, не мыл, и ничего.

— Положите.

Он покрутил ягоду перед носом, подмигнул мне и сунул в рот, и я подошла и взяла его за подбородок, как беру пациентов в приёмном, когда надо открыть рот человеку, который не хочет открывать рот.

— Выплюнь. Сейчас.

— Женщина, вы чего?

— Выплюнь, я сказала.

Он выплюнул, скорее от удивления, чем от послушания, и ягода упала в траву надкушенная, и сок из надкуса потёк не красный, а мутный, беловатый, и я не стала смотреть, что в этом соке. Я вытащила из сумки пачку соли, которую три года носила с собой, как другие носят таблетки от давления, оторвала угол и высыпала ему в ладонь горку.

— Ешьте.

— Соль?

— Всю. И запейте. У вас вода есть?

— Да вы ненормальная.

— Дядя, съешьте, — сказала Ксюша из открытой двери.

— Она не отстанет. Я вам точно говорю.

Он съел. Морщился, плевался, запивал из бутылки, ругался на меня через слово, но съел, потому что люди, когда с ними разговаривают голосом приёмного отделения, слушаются раньше, чем начинают думать. Я стояла рядом и смотрела не на него, а на берёзы за сеткой, где ничего не двигалось. В сентябре в берёзах должны орать сойки, а тут не было ни одной.

— Мытую бери, сынок.

Сказали негромко, из берёз, с той стороны сетки, женским голосом, пожилым и спокойным, каким соседки через забор просят не ставить машину напротив калитки. Водитель

обернулся, и я обернулась, и там стояли берёзы, сетка и трава, и больше никого, ни за сеткой, ни на дороге.

— Эй! — крикнул водитель. — Есть кто?

Ему не ответили. Он постоял, вытер рот ладонью и повернулся ко мне уже без улыбки.

— Грибники, что ли.

— Садитесь в машину.

— Да кто там может...

— В машину. Ксюша, окно закрой.

Он пошёл к машине, и я шла за ним и видела на его правом ботинке, на носке, мокрую дорожку. Тонкую, с серебром, уже подсыхающую по краям. Она начиналась у края подошвы, поднималась по коже к шнуркам и обрывалась на шнурках, там, где кончается ботинок и начинается нога. Он простоял у столба одну минуту, и за минуту они к нему успели. Про ботинок я ему не сказала. Велела разворачиваться и ехать в ремонт, пообещала доплатить за время.

Разворачивался он долго, в три приёма, на узкой дороге, и молчал до самых полей. В полях он включил радио, слушал полминуты и выключил.

— Это вы там жили? В этом посёлке?

— Жила.

— И как там было?

Ксюша сняла наушники. Я видела это в зеркале и видела, как она ждёт, что я отвечу, потому что за три года я ни разу не ответила на этот вопрос ни ей, ни Тане, ни женщине в

белом костюме, которая задавала его три дня подряд.

— Земля там хорошая. Пух.

Ксюша перегнулась через спинку, нашла мою руку и сжала три раза. Я сжала два.

ГЛАВА 1.

28 июня 2028 года

Охранник на въезде в Жуковку даже наушник не вынул, только отодвинул стекло будки и оглядел такси так, будто мы приехали его грабить.

— Вы к кому?

— Лесная линия, четырнадцатый дом. Лаптева. Я племянница Любови Павловны, она умерла в апреле, дом теперь мой.

— А в чате про вас писали?

— Про меня в чате писали, что я приеду в среду. Сегодня среда.

Он полез в телефон, долго листал, нашёл, и шлагбаум поехал вверх, а таксист, который всю дорогу от станции молчал, тут высказался: в такие посёлки он ездить не любит, потому что охрана думает, что она полиция, а платят ей как сторожу. Ксюша на заднем сиденье сняла наушники.

— Мам, тут интернет одна палка.

— Тут вышка за полем. Будет две.

— Две — это не интернет.

Посёлок начинался нормально, как на картинке с сайта: асфальт, фонари, газоны, дома с большими окнами, у ворот машины, на газонах горки. Дальше асфальт кончился, и фонари кончились, и пошли коробки без крыш и участки, за-

росшие по пояс, с табличками «Продаётся» на сетке, выгоревшими до белого. Тётя Люба купила свой участок в пятнадцатом году, когда застройщик уже тонул и продавал последние линии за копейки, и гордилась этим, как выигрышем в карты. Лесная линия была самой последней. За ней начинался лес.

— Это он? — Ксюша прижалась к окну. — Он кривой.

— Он не кривой. У него ступеньки просели.

— Мам, он кривой. И маленький.

— Зато наш. Вылезай.

Дом был одноэтажный, обшитый бежевым сайдингом, с террасой, которую Люба пристроила три года назад и которой хвасталась по телефону каждый раз, как звонила, и ступеньки у террасы просели на левый край, и трава во дворе стояла по колено. Ключ лежал там, где сказала по телефону соседка: в ящике для счётчика, под крышкой. Замок открылся с третьего раза. В доме было прибрано так, как прибирают медсёстры после смены: всё выключено, холодильник подпёрт полотенцем, чтобы не закрывался, на столе под плёнкой очки, дужками вниз, и на холодильнике под магнитами листочки Любиным почерком: «Укроп второй раз в июле», «Денис септик», «Марине вернуть форму», «Ксюше одиннадцать, третье сентября». Последний листочек был из апреля, за неделю до того, как Марина позвонила мне на работу и сказала, что Люба лежит на полу в кухне, а скорая уже едет, но торопиться им некуда.

— Мам, тут мыши! — Ксюша кричала из дальней комнаты. — На подоконнике какашки.

— Будем жить с мышами.

— А кота заведём?

— Заведём. Рыжего.

Мы сняли с мебели простыни, открыли окна, вытащили на террасу матрасы, и я как раз выбивала коврик, стоя спиной к калитке, когда за спиной сказали:

— Верочка.

У калитки стояла женщина с пирогом. Пирог был под полотенцем, из-под полотенца шёл пар, а женщина была невысокая, полная, в синем платке, повязанном низко на затылок, и в водолазке с горлом, застёгнутой до подбородка, при том что термометр на террасе показывал двадцать восемь. Я видела её два раза в жизни, на Любином юбилее и на похоронах, и оба раза она плакала, и сейчас она тоже начала плакать, ещё не дойдя до меня.

— Тётя Марина.

— Верочка. Господи. Я ж тебя на Любкином юбилее помню, ты с мужем приезжала, худенькая такая. А теперь вот.

Она поставила пирог на столбик калитки и обняла меня, крепко, обеими руками, и я обняла её тоже, потому что по-другому было нельзя. От её платка пахло компостом. Я подумала, что она с грядок, и ещё подумала, что компостом так сильно не пахнут, и забыла об этом, потому что она уже плакала мне в плечо.

— Как же мы без неё, Верочка. Как же мы теперь. А муж где? Игорь, кажется?

— Игорь в Москве. Мы развелись.

— Ох. Ну и правильно. Любка про него говорила: вилку держит, как лопату. — Она вытерла лицо концом платка и смотрела уже за моё плечо, на террасу. — Тут земля такая, Верочка, тут всё растёт. А это кто у нас такая? Это Ксюшенька? Иди сюда, Ксюшенька, иди к бабе Марине. Ты клубничку с сахаром любишь, как мамка?

Ксюша, которая терпеть не могла, когда её трогают чужие, спустилась с террасы и дала себя обнять, и даже не скорчила мне рожу через Маринино плечо.

— Люблю, — сказала Ксюша.

— Будет тебе клубничка. У меня в этом году такое, ты не поверишь. Я на этой земле тринадцать лет, и такого не было. Земля у меня пух. Пух!

Она показала руками, какой пух, и платок у неё съехал на затылок, и она поправила его быстро, двумя руками, не глядя на меня.

— Я Тёме говорю: Тёма, это твой компост. Он у меня компостом занимается, ролики смотрит, живая земля, всё такое. Ты ж Тёмку помнишь?

Тёмку я не помнила. Я помнила, что у Марины есть сын, который работает на севере вахтой, и что Люба писала про него в сообщениях «Тёма опять приехал, опять сидит дома», и всё.

— Он где?

— Да вон, за хозблоком. Он всё за хозблоком. Тёма! Тёмочка! Иди, Верка приехала!

Из-за хозблока никто не вышел. Я посмотрела туда через забор и увидела край крыши, зелёный шланг, перекинутый через угол, и под шлангом землю, мокрую, чёрную, широким языком от хозблока вглубь участка, за кусты. В такую жару поливать в два часа дня было глупостью, всё сгорит, но у Марины на участке, видимо, были свои законы.

— Ладно, он стеснительный у меня. Ешьте пирог, пока горячий, с капустой.

Она подхватила полотенце, в котором несла пирог, пошла к калитке и у калитки обернулась.

— И вот что, Верочка. Тебе септик надо откачать. Любка с осени не вызывала, болела, а вас двое, вы и стирать будете, и купаться. Я Дениске позвоню.

— Какому Дениске?

— Да ты не знаешь. У него машина, он весь посёлок обслуживает, и Ильинское, и дачи за рекой. Мужик хороший, только дурной. Я позвоню, он приедет.

И ушла, и мы с Ксюшей съели пирог прямо на террасе, на матрасе, руками, и он был правда с капустой и правда вкусный, и Ксюша сказала, что баба Марина ничего, нормальная.

— Только пахнет.

— Чем пахнет?

— Как из нашего ведра, когда ты его три дня не выносишь.

Я хотела сказать, что это варенье, у таких тёток всегда варится варенье, и не сказала, потому что варенье так не пахнет, а компост не пахнет так сильно.

Дениска приехал в четыре, и сначала я слышала мотор, тяжёлый, дизельный, а затем над забором проплыла оранжевая цистерна, машина встала у калитки, и из кабины вылез мужик в тёмных очках и кепке козырьком назад. Он был широкий, не толстый, а именно широкий, в рабочей куртке, которая стояла на нём колом, и первое, что он сделал, это уставился на мою калитку.

— Ну и кто так замок вешает.

— А как надо?

— Не так. — Он открыл калитку, прошёл мимо меня, как мимо столба, и направился за дом, где у Любы под сиренью был люк. За ним из кабины прыгнула собака, большая, рыжая, с ушами в разные стороны, и побежала следом. — Буран, фу. Это Буран. Он не кусается, он дурак.

— А собаку я не заказывала.

— Собака бесплатно. Люк где?

— Где-то под сиренью.

— «Где-то». — Он раздвинул крапиву голыми руками, нашёл крышку, поднял, заглянул. — Ёб твою мать. Любовь Пална, царствие небесное, с осени не чистила. Это не септик, это архив.

— Можете не чистить. Я другого найду.

— Другого нет. Я один на три посёлка. — Он снял очки,

и глаза у него оказались светлые, почти без цвета, с морщинами по углам, и ему было не тридцать, как я решила по голосу, а под пятьдесят. — Денис.

— Вера.

— Знаю. Марина сказала: Любкина племянница, врач.

— Медсестра.

— Я и говорю, врач. Шланг сейчас протяну, ребёнка уберите, запах будет.

— Ребёнок сам уберётся. Ксюша, в дом.

Ксюша ушла в дом и смотрела в окно, зажав нос. Шланг лёг через весь двор, машина заревела, Денис ходил вдоль шланга и пинал его ботинком, а Буран лёг в тени у забора, у самого забора с Мариной, и лежал не как собака в жару, а с поднятой головой, глядя в щель между досками. Потом он встал, подошёл к доскам, понюхал и зарычал, низко, долго, и шерсть у него на спине поднялась гребнем.

— Буран. Чего ты.

Пёс оглянулся на хозяина, снова сунулся к щели и ложиться не стал. Денис выключил насос.

— Это он на Маринкиных слизней. У неё за хозблоком компостная куча, она в этом году прёт, как бешеная. Слизней там не сосчитать. Он их ненавидит. Нажрался, видно, в детстве.

— А у неё вы откачиваете?

— У неё не септик. У неё станция. — Он смотрел на меня так, будто я должна была знать разницу. — Биологическая

очистка, бочка в земле, бактерии, туда льёшь, оттуда выходит почти чистая водичка. По идее.

— И что, работает?

— Её раз в год надо чистить от ила. Я ей три года говорю: Марин, давай откачаю. Она: Денисочка, всё работает, Тёма следит. А говно, Вер, само не испаряется. Оно куда-то девается.

— Куда?

Он не ответил, только повёл головой в сторону Марининого забора, на мокрое пятно за хозблоком, и я посмотрела туда же, и мы оба промолчали. Машина заглохла. Стало слышно, как через два дома визжит триммер и как в Марининых кустах за забором шуршит.

— Готово. Две с половиной. Или пирогом.

— Пирог мы съели.

— Жаль. Тогда две с половиной.

Я перевела ему на карту, он проверил телефон, сунул его в карман и не ушёл. Стоял, сматывал шланг, виток за витком, и Буран стоял рядом, и Ксюша вышла на террасу, и я видела, что он смотрит на меня через тёмные очки и думает, что я этого не вижу. Мне было сорок два года, я развелась в феврале, у меня была дочь, лишние двадцать килограммов и зарплата тридцать восемь тысяч, и краснеть перед мужиком с цистерной я не собиралась.

— Чего?

— Ничего. Ступеньки у вас кривые.

— Я в курсе.

— Могу поправить. Я по дереву могу. Я вообще всё могу, кроме как с людьми разговаривать.

— Это я уже заметила.

— Ну вот. — Он закинул шланг в кузов. — В субботу приеду, доски привезу. Денег не надо. Мне Любовь Пална три года в долг чистить разрешала, пока я с разводом разгребался. Долг есть долг.

— Вы тоже?

— Чего я тоже?

— Разводились.

— Все разводятся. — Он надел очки. — Это как грипп. Один раз точно переболеешь.

И уехал, и цистерна ревела до конца линии, и Буран сидел в кабине и смотрел в заднее стекло на Маринин забор, а не на нас. Ксюша подождала, пока мотор стихнет.

— Мам. Он на тебя пялился.

— Не говори «пялился».

— А как говорить?

— Никак не говорить. Иди картошку чисти.

Вечером мы сидели на террасе, комары жрали так, что Ксюша намазалась Любиным средством по самые уши, и она рассказывала, что у Лизы Моргуновой из её класса родители тоже развелись и теперь у Лизы два дня рождения, и это выгодно. У Марины горело одно окно, кухонное, и в окне иногда проходила тень, широкая и низкая, а за ней другая, вы-

сокая и худая. Тёма, значит. Так я его сегодня и не увидела.

А за забором поволокли. Звук был такой, какой бывает, когда по полу тащат мешок картошки, мокрый и тяжёлый, который цепляется за каждую доску. Он тянулся долго, с остановками, затем стих и пошёл снова, уже глуше, уже из дома, и я сидела с кружкой и слушала, как у соседки за стеной волокут по комнатам мешок.

— Мам, это что?

— Тётя Марина компост таскает. У неё земля пух.

— А почему ночью?

— Чтобы днём не жарко.

Ксюша приняла это и ушла стелить. Я посидела ещё, докурила сигарету из Любиной тумбочки, хотя три года не курила, и перед сном пошла к бане, которая стояла в дальнем углу участка, у самого забора с Мариной, потому что не помнила, закрыла ли там окно.

Окно было закрыто. Земля у бани, с той стороны, где забор, была мокрая, чёрная, и мокрое шло из-под досок с Мариной стороны широким языком и кончалось в полуметре от моего крыльца. Дождя не было две недели, это я знала точно, потому что две недели смотрела прогноз и думала, в чём везти Ксюшу. Я ткнула в мокрое носком тапка, и тапок провалился, и из-под него пошёл тот же запах, что от Мариного платка.

Я вытерла тапок о траву и сказала себе, что это станция, что Тёмка-дурак сливает за хозблок, а завтра же надо сказать

Марине, потому что это уйдёт в скважину.

— Мам! — Ксюша стояла в окне спальни в одной футболке. — Там кто-то ходит за забором.

— Это тётя Марина. Ложись.

— Она в темноте ходит.

— Ей не надо света. Она тут тринадцать лет. Ложись, я иду.

ГЛАВА 2.

4–10 июля

— Куда? — спросил Артём.

Это было первое слово, которое я от него услышала за неделю, и сказал он его в землю, не поднимая головы. Он стоял у моей калитки с тачкой, полной чёрной жирной массы, от которой шёл пар, и на нём были тёмные очки и серая толстовка с капюшоном, надвинутым до бровей, при том что термометр у террасы показывал двадцать девять. Марина с утра ходила по линии и стучалась во все калитки подряд: «Бери, у меня много, у меня земля пух, Тёма привезёт». И Тёма возил. Я была у него, по моим подсчётам, четвёртой.

— Вот сюда, к грядке. Тём, ты чего в толстовке? Сдохнешь же.

— Нормально.

— Сними хоть капюшон.

— Голова болит.

Он вывалил тачку, разровнял лопатой, не глядя на меня, и покатил пустую тачку обратно, и на ходу сорвал с газона у калитки стебель одуванчика и сунул в рот. Не в зубы, как мальчишки держат соломинку, а в рот, и жевал. Губы у него были сухие, с белым налётом в уголках, таким, какой бывает у людей на капельнице, когда они сутки не пили. Я подумала, что парню тридцать три, что он полгода сидит дома с

матерью без работы и что это не моё дело.

Я посадила в этот компост салат и укроп. Укроп второй раз в июле сажала Люба, об этом висело на холодильнике, и я сделала так же, потому что это был её дом, её календарь и её наука.

Наука у неё была простая: всё, что с грядки, в солёную воду. Миска, две горсти соли, вода из-под крана, и в эту воду укроп, салат, петрушку, всё, что сорвала, на полчаса. «От слизней, Верка. Они в зелени сидят, мелкие, не видно, а потом у тебя в животе сидят». Я в двенадцать лет над этим смеялась и делала, потому что Люба могла и по рукам, и теперь, в сорок два, стояла на террасе и сыпала соль в миску, а Денис подгонял доску для ступеньки и ржал.

— Вы чего делаете?

— Укроп замачиваю.

— В рассоле?

— В солёной воде. От слизней.

— Вера Сергеевна. — Он отложил доску. — Слизень это такая штука, которая ползёт. Вы его видите. Вы его берёте и выкидываете. Его не надо топить, он не подводная лодка.

— Это тёткина наука.

— Любовь Пална в мужиков верила, в бога верила и в разговор от грыжи. Не все её науки одинаково полезные.

— Не нравится, не ешь.

— Я ем всё. — Он взялся за доску. — Я в армии ел всё, я на вахте ел всё, и я жив. А вы соль переводите.

Он приезжал уже пятый вечер. В субботу привёз доски, в воскресенье поставил ступеньки, а с понедельника, как он говорил, доделывал, хотя доделывать было нечего: ступеньки стояли ровно, и Ксюша прыгала по ним, проверяя. Он не спрашивал, можно ли приехать, он приезжал после работы, часов в шесть, с Бураном и с чем-нибудь в пакете: с хлебом, с сыром, однажды с арбузом, и сидел на террасе до темноты, и ничего не предлагал, и никуда не звал, и я не понимала, что с этим делать, и злилась.

— Он тебя кадрит, — сказала Ксюша.

— Не говори «кадрит».

— Мам, ну он же кадрит.

— Он ступеньки делает.

— Ступеньки пять дней не делают. Тимоха сказал, его папа за час бы сделал.

Тимоха появился на второй день сам собой: Ксюша ушла к реке одна, а вернулась с Тимохой. Ему было двенадцать, он жил с родителями в девятом доме, приезжал на всё лето из Москвы, гонял по линии на электросамокате, носил на шее ножик на верёвке и имел мнение обо всём на свете, и Ксюша смотрела на него, как на телевизор. Мать его, Оля, худая и нервная, работала бухгалтером удалённо и с утра до ночи сидела на веранде с ноутбуком, а отец, Сергей, собирал во дворе беседку по ролику с телефона и каждый вечер ходил вокруг неё с рулеткой.

— Нормальные у тебя родители. Только маму твою я бо-

юсь.

— Её все боятся. — Тимоха ел наш хлеб с нашим сыром.
— Она клещей боится. Она меня каждый вечер раздевает и всего смотрит.

— Правильно делает.

— Мне двенадцать лет!

— Вот и не ходи голый по лесу.

В понедельник вечером, когда Денис в пятый раз доделывал ступеньки, Ксюша сидела рядом с ним, ела арбуз и рассказывала ему про больницу. Я слушала из кухни. Ксюше было пять, когда ей вырезали аппендицит, вырезали плохо, с осложнением, и она пролежала в хирургии три недели, а я сидела с ней ночами, потому что медсестёр в детской хирургии не хватало, а своя дочь это своя дочь.

— И мне нельзя было говорить, потому что трубка была. Вот тут. И мама придумала знак. Я её руку беру и сжимаю. Два раза значит «люблю». А три раза значит «мне страшно, забери меня».

— И что, забирала?

— Нет. Нельзя было забирать. Она сидела рядом. Но я сжимала, и она знала.

— А сейчас?

— А сейчас мы так делаем у зубного. Или когда папа звонит.

Денис оглянулся на кухонное окно, и я сделала вид, что мою посуду, хотя посуду я вымыла час назад и мыть мне бы-

ло нечего.

— Хорошая штука. У нас в роте тоже так было. Только не рукой.

— А чем?

— Матом. Если матом, значит, всё нормально. А если человек молчит, значит, беда.

— Так детям же нельзя.

— Вот поэтому я детям и не рассказываю.

Ксюша заржала так, что подавилась арбузом, я вышла стучать ей по спине, и Денис смотрел на нас снизу, с последней ступеньки, сняв очки, и ничего не говорил, и мне захотелось, чтобы Ксюша кашляла подольше.

Лев Аркадьевич нашёл меня сам, точнее, его кот. Кот был чёрный, огромный, с рваным ухом и колокольчиком на ошейнике, и он пришёл во двор в среду утром, сел посреди дорожки и сказал «мэ». Не «мяу», а именно «мэ», низко и коротко, с претензией. Через минуту в калитку вошёл старик, сухой, высокий, в соломенной шляпе и рубашке с коротким рукавом, застёгнутой на все пуговицы, с палкой, на которую он не опирался, а нёс её перед собой, и я выпрямилась, как выпрямлялась при заведующем.

— Прошу прощения. Это моё животное. Мотя, бессовестный, домой.

Кот не шевельнулся. Хвост у него дёрнулся и лёг обратно.

— Он вас не слушается?

— Он никого не слушается, он кот. Лев Аркадьевич Шу-

ман, пятый дом. Вы Вера, племянница Любви Павловны, медицинский работник. Соболезную. Любовь Павловна была единственным человеком на этой линии, с которым можно было разговаривать, не повышая голоса.

— Спасибо.

— Не за что, это констатация. — Он увидел мою грядку с чёрной кучей компоста, присел на корточки с хрустом и, прежде чем я успела открыть рот, взял щепоть, растёр в пальцах, поднёс к лицу и понюхал. — Это от Марины Николаевны?

— Да. Она всем раздаёт.

— Угу. Богато. Очень богато. Я бы сказал, подозрительно богато для одной компостной кучи. Вы знаете, кто я по образованию?

— Нет.

— Малаколог. Зоолог по моллюскам. Сорок один год в институте: слизни, улитки, прудовики. Все смеялись.

— И не надоело?

— Моя покойная жена говорила: Лёва, ты единственный человек, кому слизни интереснее людей. Она была права. Люди скучные.

— А слизни?

— А слизни в этом году, Вера, необыкновенно интересные. — Он поднялся, отряхнул пальцы о штаны. — Я тут живу девять лет и такого не видел. Их много, они крупные, и они ходят вереницей. Как муравьи.

— Это плохо?

— Слизни так не делают. Слизень одиночка, у него ни стаи, ни семьи, ни друзей. А эти ходят по одной дорожке, друг за другом, и дорожка у них блестит, как шоссе.

— Куда ходят?

— Туда. — Он показал палкой на Маринин хозблок. — К источнику. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, что у Марины Николаевны за хозблоком. Но Марина Николаевна меня не пускает. Она говорит, там Тёма, и Тёма там действительно, всё время.

Он помолчал, глядя на забор, и кот у его ног смотрел туда же, и оба они не двигались, пока за забором не хлопнула дверь хозблока.

— Мотя, домой. Вера, если найдёте у себя кого-нибудь крупного, с белой плёнкой на спине, положите в банку с дырками в крышке и принесите мне. Я заплачу.

— Сколько?

— Пирогом. Я живу один, мне пироги никто не печёт.

Кот поднялся, прошёл мимо меня, как мимо пустого места, и пошёл за хозяином, и у калитки оба они, старик и кот, одинаково оглянулись на Маринин забор.

Чат жителей Люба мне оставила вместе с домом. Он назывался «Жуковка. Соседи», в нём было сто тридцать восемь человек, и первое, что я прочитала, когда Оля Сафонова меня туда добавила, было такое:

«ГАЛИНА ПЧЁЛКИНА: ПОКА НЕ ПРИЕДЕТ РОСПО-

ТРЕБНАДЗОР Я НЕ УСПОКОЮСЬ!!! У МЕНЯ ОКНА НЕ ОТКРЫТЬ. ОТ ШЕСТНАДЦАТОГО ДОМА ВОНЯЕТ КАК ОТ СВИНАРНИКА. МАРИНА ЕСЛИ ТЫ ЭТО ЧИТАЕШЬ Я ТЕБЕ СКАЖУ В ЛИЦО ТО ЖЕ САМОЕ».

«Оля Сафонова: Галина Ивановна, давайте без капслока. У нас дети читают».

«ГАЛИНА ПЧЁЛКИНА: ПУСТЬ ЧИТАЮТ. ПУСТЬ ЗНАЮТ».

«Коля Пчёлкин: Галя иди домой, я ужин разогрел».

«Марина: Галя, я тебе уже говорила. Это компост. Компост это природа. Если тебе природа воняет, живи в городе. Тёма всё убрал, всё закрыл. Что ты от меня хочешь».

«ГАЛИНА ПЧЁЛКИНА: Я ХОЧУ ДЫШАТЬ».

«Марина: Дыши».

Я прочитала и вышла на террасу. Воняло? Не воняло. Пахло, если ветер шёл с Марининой стороны, и не свинарником, а другим: так пахнут яблоки под деревом в сентябре, когда их уже не собирают и в них сидят осы. За двадцать лет в больнице я нанюхалась всякого и научилась не морщиться, и я не морщилась, но заметила, что за эту неделю перестала открывать окно в спальне, которое выходило на Маринину сторону, и что Ксюша стала спать со мной, а не в Любиной комнате, и говорила, что там мыши, хотя мышей я вывела в первые же дни.

Галину я увидела в пятницу вечером на контейнерной площадке у КПП, куда вся линия перед вывозом тащила па-

кеты. Галина была большая, громкая, в цветастой тунике и лосинах, с химической завивкой, и говорила так, чтобы слышали и охранник в будке, и камера над площадкой:

— Пусть она мне в глаза скажет, что это компост. Я тридцать лет завхозом в школе, я знаю, что чем пахнет. Компост так не пахнет. У неё тамдохлое лежит. У неё там Тёмка закопал кого-то.

— Галь, при детях. — Сергей Сафонов закинул пакет в контейнер.

— А слизни все от неё! Я каждое утро ведро снимаю с крыльца. Ведро!

— У всех ведро, Галь.

— У всех, потому что от неё! Я в Роспотребнадзор написала через Госуслуги. Я в управляющую написала. Я, если надо, в Москву напишу!

Марина стояла тут же, с двумя пакетами, через три человека, в платке, в водолазке, и слушала с лицом человека, который ждёт, когда пройдёт дождь. Она дождалась своей очереди, закинула пакеты и, проходя мимо Галины, остановилась на секунду, так близко, что слышали только ближние.

— Галя. Ты приходи. Я тебе клубники дам. Такой ты не ела.

И пошла к линии, и очередь примолкла, а Галина так и осталась стоять с пакетом в руке, и я подумала, что ещё никто на моих глазах не затыкал Галину Пчёлкину одной фразой. Про клубнику.

В ночь на понедельник я проснулась оттого, что в комнате светло. Луна стояла прямо в окне, полная, и свет лежал на полу и на Ксюшиных волосах, и я лежала, послушала: за стеной часы, за забором тихо, сегодня никто ничего не волок. Я подумала, что надо бы встать попить, и не встала, и уже почти заснула снова, когда увидела, что на стекле снаружи сидит слизень.

Он был один, небольшой, с мизинец, и прозрачный. Не серый и не бурый, как те, которых мы с Ксюшей каждое утро снимали со ступенек, а прозрачный, как желе, и сквозь него было видно луну. Я смотрела на него и не могла понять, что мне в нём не нравится, а потом поняла: внутри у него было тёмное зёрнышко, с горошину, и оно плыло. Не так, как проходит по кишке проглоченная еда, а само, вверх, к голове, потом вбок, потом вниз, и слизень при этом не двигался. Он сидел, растянувшись по стеклу, а зёрнышко ходило по нему, как рыбка в банке, и искало выход.

Я лежала минут пять. Затем поднялась тихо, чтобы не разбудить Ксюшу, подошла к окну и щёлкнула по стеклу ногтем. Слизень не шевельнулся. Зёрнышко остановилось, постояло на месте и развернулось в мою сторону, и больше не двигалось, пока я не задёрнула штору.

Я легла, обняла Ксюшу, которая во сне сказала «отстань», и лежала до света, а утром на стекле ничего не было, кроме дорожки, высохшей, серебряной, от середины окна вниз, к подоконнику, к земле, к забору, туда. За завтраком я посо-

лила воду для укропа втрое против обычного. Денис, который заехал перед работой забрать свой шуруповёрт, увидел миску и ничего не сказал, он вообще в это утро был тихий, и только у калитки задержался.

— Вер. Вы ночью ничего не слышали?

— Нет. А что?

— Да ничего. Кузьмич говорит, у него ночью Найда выла. Он на одно ухо глухой, а проснулся. Вышел, посмотрел. Никого. Собака стоит у будки мокрая, трясётся, рвётся на цепи до хрипа. — Он открыл калитку. — Ладно. Собаки, они дурные. Я к вечеру.

ГЛАВА 3.

12–13 июля

— Мам, не выходи! — Ксюша стояла в дверях террасы в одном носке и держала второй в руке. — Там они.

Я вышла. На ступеньках, которые Денис перебирал пять вечеров, сидело штук сорок, на перилах ещё столько же, и по стенке дома, по сайдингу, до самых окон шли дорожки, подсохшие сверху и мокрые внизу, где слизни ещё ползли. Они были обычные, бурые, с ладонь, и на спине у каждого лежало по белому пятну, вроде плёнки, и двигались они не как попало, а в одну сторону: со ступенек через дорожку к забору, к Марининому забору, и под него.

— Это что, нашествие? — Ксюша натянула второй носок и влезла в резиновые сапоги. — Как в фильме?

— Это слизни. Их много. Неси ведро и щипцы для белья.

— Какие щипцы?

— Которыми бельё на верёвку. В ящике на террасе.

— Мы будем их щипцами?

— Мы будем их чем угодно. И соль неси.

На линии уже стояли люди. Сергей Сафонов шёл вдоль своего забора с совковой лопатой и сбрасывал с досок в ведро, и ведро у него было полное. Оля стояла на веранде в резиновых перчатках до локтя и кричала Тимохе, чтобы он не трогал руками, а Тимоха трогал руками. Кузьмич из два-

дцать второго, которого я до сих пор видела только через забор, вышел на линию в камуфляжных штанах и с мешком на плече, и мешок был на двадцать пять килограммов, с надписью «Соль таблетированная».

— Соль берите! — крикнул он мне. — Для умягчителя соль, у меня двадцать мешков в цоколе. Сыпьте по дорожкам. По периметру сыпьте!

— Пётр Кузьмич, это ж для фильтра.

— Фильтр потерпит. Я на одно ухо глухой, а не дурак. Соль их режет. Сыпь, Вера, не жалей.

Вдвоём с Ксюшей мы собрали со ступенек и с террасы полтора ведра. Ксюша брала щипцами, брезгливо, с вытянутой рукой, и считала вслух, и на семидесятом сбилась, а Тимоха, который прикатил на самокате, брал голыми руками, по два в горсть, и кидал в ведро с размаху, чтобы чавкнуло.

— Тимоха, ты их не ешь только.

— Я что, дурак? Их французы едят.

— Французы улиток едят. И варят.

— А эти без домика, значит, уже готовые.

Ксюша заржала, и слизень, которого она как раз держала щипцами, сорвался ей на сапог, и орала она так, что Оля Сафонова прибежала с веранды через два участка.

— Что? Укусил? Они кусаются?

— Оля, это слизень. Он никого не кусает. Он сидит.

— Я не знаю, что они делают! Я бухгалтер! — Она схватила Тимоху за плечо и стала выворачивать ему воротник,

смотреть шею. — Тима, я тебя просила руками не брать. Я тебя просила!

— Мам, они не клещи.

— Я не знаю, кто они!

Денис приехал к одиннадцати, не на цистерне, а на своём пикапе, и в кузове у него были две канистры с горячей водой из бака на базе, мешок соли и Буран, который из кузова не прыгнул, а лёг на дно и положил морду на лапы.

— Чего это он?

— Не хочет. — Денис выгрузил канистры. — Я его силой тащил. Он у калитки сел и всё, не идёт. Ну и хрен с ним, пусть лежит. У вас сколько?

— Полтора ведра. У Сафоновых три.

— У Галины шесть. Она мне позвонила в семь утра и орала так, что я без телефона слышал. У неё по всему дому, до башенки дошли.

— А у Марины?

Он снял очки, протёр их краем футболки, надел, и я подумала, что сейчас он скажет гадость, а он сказал другое.

— А у Марины, Вер, чисто. Я проехал мимо, у неё дорожка чистая, ступеньки чистые. Как будто их у неё и не было. Или она в шесть утра встала и всё собрала.

— Куда?

— Вот и я думаю, куда.

Мы сыпали соль. По дорожке, по ступенькам, вдоль забора с Мариной стороны полосой, и там, где соль ложилась

на слизня, он сворачивался, пускал пену и переставал быть слизнем, а становился лужицей, и Ксюша смотрела на это с таким лицом, с каким смотрят на казнь, и не отходила. Горячую воду Денис лил на вереницу у забора, и там, где лил, они замирали, а те, что шли сзади, останавливались, не разбегались, а разворачивались и шли в обход, как машины на объезде.

— Ты видел? Они обходят.

— Вер, они слизи. Они ползут, куда мокро.

— Они обходят соль и идут туда же. По одной дорожке.

— Ну и хрен с ними. Главное, с твоих ступенек ушли.

Лев Аркадьевич появился после обеда с холщовой сумкой, из которой торчали банки, и Мотя шёл за ним по пятам и останавливался у каждой вереницы, и нюхал, и шипел, и отходил. Лев Аркадьевич брал слизней с заборов пинцетом, по одному, из разных мест, в каждую банку клал бумажку с номером дома и молчал, и это мне не нравилось больше, чем если бы он ругался.

— Лев Аркадьевич, что это?

— Это слизи, Вера. Обычные, сетчатые, их в любом огороде полно.

— Обычные так не ходят.

— Вот именно. — Он закрутил крышку. — И обычные не носят на спине этого.

Он поднял банку к свету, и стало видно, что плёнка на спине у слизня не лежит, а приподнимается по краю, волной,

и опускается.

— Что это?

— Я не знаю. Я сорок лет смотрю на слизней, и я не знаю. Это я вам говорю честно, потому что врать я не умею, а догадки говорить вслух не люблю. Дайте мне два дня.

— Что вы будете делать?

— Смотреть. Под микроскопом. И кормить, посмотрю, что они едят и чего не едят. — Он сунул банки в сумку. — Вера, у вас зелень с грядки, где Маринин компост?

— Укроп. Салат ещё не вырос.

— Вы его едите?

— После солёной воды. Тётина наука: всё с грядки на полчаса в рассол.

— Любовь Павловна мне рассказывала. Я думал, это шутка.

Он помолчал, и в первый раз за день у него дёрнулся уголок рта, и я не поняла, смеётся он или нет.

— Любовь Павловна была умнее нас всех. Солите. Крепко солите. И девочке не давайте ничего с грядки, пока я не скажу.

— Почему?

— Потому что я не знаю, Вера. Я же сказал: не знаю. Мотя, домой.

К вечеру линия была в соли, как зимняя дорога, и в чате Галина написала капслоком, что управляющая компания должна обработать всё химией за свой счёт, а Марина напи-

сала, что химией она на своей земле травить не даст, у неё земля живая, а Оля Сафонова написала, что заказала средство в гранулах с доставкой на завтра. Коля Пчёлкин написал «Галя иди спать», а под всем этим охранник Вадик написал, что ночью по камере дорога у шлагбаума блестела, как после дождя, он вышел посмотреть, а дорога сухая. Я закрыла чат, проверила ступеньки с фонарём, они были чистые, и легла.

Утром их было больше. Не вдвое, а так, что Ксюша заплакала, не от страха, а от обиды, потому что вчера мы с ней три часа собирали. Соль на дорожке была на месте, и на соли они лежали, свернувшиеся, в пене, десятками, а поверх них, по мёртвым, как по мостику, шли живые, и шли туда же, к Маринину забору. Денис приехал в семь, уже без шуток, с тремя мешками от Кузьмича, и мы сыпали, и лили, и собирали, и к десяти у нас было четыре ведра, и Денис вывалил их в яму на краю леса, залил бензином и жёг, и Буран сидел в пикапе и смотрел в другую сторону.

Марина вышла на линию к обеду, в платке, в очках, с лопатой, и пошла вдоль своего забора с нашей стороны, собирая вереницу в ведро, и ведро у неё наполнялось быстро, и она не морщилась, брала рукой.

— Верочка, ты не расстраивайся. Это год такой. Сырой был май, вот они и попёрли. У всех так.

— Марина Николаевна, у вас чисто.

— А у меня чисто, потому что я с пяти утра встаю, Верочка. Я не барыня. Я собрала и выкинула.

— Куда выкинули?

— В компост, куда ж ещё. — Она разогнулась и смотрела на меня через чёрные стёкла, и я не видела, куда она смотрит. — Всё в землю, Верочка. Всё в землю уходит, и всё обратно растёт. Ты укроп посадила? Как он у тебя?

— Растёт.

— Вот. Пух.

Лев Аркадьевич пришёл в шестом часу, без сумки и без банок, и Моти с ним не было. Он остановился у калитки и не вошёл.

— Вера, вы Мотю не видели?

— Сегодня нет. Вчера с вами был.

— Вчера был. Вечером ушёл, как всегда, в десять, он гуляет. В шесть утра он всегда дома. Десять лет в шесть утра он сидит под дверью и орёт.

Он смотрел не на меня, а вдоль линии, туда, где заборы уходили к лесу.

— Сегодня не орал. Я ходил по линии, звал. Кузьмич не видел, Сафоновы не видели. Галина сказала, что ей не до котов.

— Он придёт. Коты гуляют.

— Мотя не гуляет сутками. Он старый, он приходит есть.

Он поправил шляпу, и рука у него задержалась на полях дольше, чем нужно.

— У него на ошейнике колокольчик. Если услышите, позвоните мне. В любое время, Вера, я не сплю.

— Позвоню.

Он пошёл к себе, медленно, с палкой перед собой, и у Мариной калитки остановился, постоял, глядя на её ступеньки, чистые, и на её забор, под который уходили вереницы, и пошёл дальше. Ксюша вышла на террасу и встала рядом со мной.

— Мам, а Мотя где?

— Гуляет.

— А если его слизни?

— Ксюш, слизни котов не едят. Они траву едят. Иди руки мой.

ГЛАВА 4.

14–17 июля

— Вера Сергеевна, вы кошку не видели? Серую, с бантиком. Она у нас домашняя, она дальше веранды не ходила никогда.

Оля Сафонова стояла у моей калитки в восемь утра с распечатанным листком, где была фотография кошки в бантике и телефон, и таких листков у неё под мышкой лежала стопка.

— Не видела. Когда пропал?

— Ночью. Я её на веранде оставила, в кресле, она там всегда спит. Утром кресло пустое, бантик лежит. Один бантик. — Она протянула мне листок. — Повесьте, пожалуйста, у себя на калитке. Я на столбы повешу и у шлагбаума на доске.

Я повесила. К обеду на столбах вдоль линии висело пять листков, и в чате их было больше: кот Барсик из тридцать четвёртого, рыжий, кастрированный, кошка Соня из двадцать девятого, трёхцветная, и ещё двое с верхних линий, где раньше ничего не пропадало. Галина написала капслоком, что это травят, что надо вызывать полицию и что она уже пишет заявление. Коля написал «Галя иди обедать». Марина написала: «Девочки, не паникуйте, коты летом гуляют, у меня в том году Мурзик месяц гулял, пришёл толстый». Я прочитала и подумала, что никакого Мурзика у Марины я не видела и что Люба про Мурзика ничего не писала.

На доске у шлагбаума листки вешала Галина, и вешала так, что Вадик вышел из будки.

— Галина Ивановна, у меня там объявление управляющей висело.

— Твоё объявление про долги за охрану никому не нужно, а коты нужны. Ты ночью камеры смотришь?

— Они пишут. Я смотрю, когда надо.

— Вот и посмотри. Кто ночью по линии ходит, кто чужой заезжает. Коты сами не исчезают. Их травят, или собаки, или человек.

— Галина Ивановна, у меня запись за три дня, там ничего нет. Марина Николаевна с сыном ночью пакеты носят к контейнерам, вот и все ночные.

— Какие пакеты?

— Обычные, мусорные. Они днём не успевают, у них мастерская.

Галина оглянулась на меня, и я на неё, и в первый раз мы с ней подумали одно и то же.

— Покажи.

— Не могу, это служебное. Пишите в управляющую, они запросят.

Вечером по линии ходили с фонарями. Сергей Сафонов, Коля Пчёлкин, Кузьмич с Найдой на поводке, которая упиралась и не шла, Денис, который приехал после работы и сразу включился, и я с Ксюшей, которую нельзя было оставить дома одну, потому что она бы всё равно пошла. Мы открыва-

ли хозблоки, светили в недострои, где между бетонных стен стояла вода и росла крапива в рост человека, и звали «Мотя», «Барсик», «Муся», и голоса уходили в лес, и из леса никто не отвечал.

— Это как в кино, — Ксюша держала меня за руку. — Когда все ищут, а потом находят.

— В кино находят. Тут коты.

У тридцать четвёртого дома, у калитки, стояла переноска. Пластиковая, открытая, с миской внутри, и в миске лежал сухой корм, и Зоя, хозяйка, в спортивном костюме, объяснила, что выставила, чтобы Барсик пришёл на запах, а он не пришёл, и переноска стоит вторые сутки. Денис посветил на землю вокруг переноски, и земля была сухая, а на пластике, на пороге переноски, был след, высохший, тонкий, и он шёл от земли внутрь, до миски, и обратно.

— Это они к корму. — Денис выключил фонарь. — Слизни на сухой корм идут, это известно. У меня Буран миску не доедает, с утра полная ползучих.

— А Барсик?

— А Барсик ушёл. Зоя, не стойте у калитки, идите домой.

Ни Мотю, ни Барсика, ни Мусю с бантиком не нашли. В одиннадцать разошлись, и Денис уехал, потому что ему в шесть на выезд, и я уже засыпала, когда за забором, со стороны бани, закричала кошка. Не мяукала, а кричала, с подвыванием, и крик шёл с Марининой стороны, из-за хозблока, и поднимался выше, и оборвался. Не затих, а оборвался,

разом, и больше ничего. Я села в кровати. Ксюша спала. За забором было тихо, и в этой тишине я услышала, как у Марины открылась дверь хозблока, а через минуту закрылась.

В воскресенье с утра было пасмурно и душно, небо висело низко, а дождя не было, и Марина вышла на участок в других очках. Не в тех, что всегда, а в круглых, с толстыми чёрными стёклами, как у слепых. Я вешала бельё и видела её через забор, между досками: она сидела на корточках у высокой грядки, где у неё рос щавель, перебирала стебли, срывала и клала в рот. Не пробовала, годится ли, а ела, один за другим, и жевала долго, и глотала. Я стояла с мокрой наволочкой в руках и смотрела, пока она не повернула голову.

Она вытерла рот тыльной стороной ладони, долго, и улыбнулась мне, и подошла к забору.

— Верочка, доброе утро. Ты видишь, какой щавель? В июле! У всех отошёл, а у меня второй раз пошёл.

— Марина Николаевна, вы его сырым?

— А как же. Это бабкин рецепт, от изжоги. У меня гастрит, Верочка, сорок лет гастрит, с комбината, а щавель кислоту гасит. Ты не смотри, что я как коза.

Она засмеялась и показала мне через забор пучок, мятый, с зелёным соком на пальцах.

— Хочешь, нарву? Ксюшеньке в суп.

— Спасибо, у нас свой.

— Свой это хорошо. Свой это самое лучшее. — Она поправила очки. — Голова у меня, Верочка, от света раскалы-

вается. Старость. Ты как медик скажи, это давление?

— Это к врачу, Марина Николаевна. Я не врач.

— Ты лучше врача. Ты Любкина.

Лев Аркадьевич в тот же день позвонил мне сам, в первый раз, и говорил так, словно читал по бумажке.

— Вера, я кормил их три дня. Они едят листья, едят очистки, едят хлеб. Мясо, которое я им положил, они обошли. Они не хищники, Вера. Моллюск не хищник, и я был прав, что не верил в худшее.

— А Мотя?

— Мотя старый кот. Старые коты уходят умирать, это известно каждому, кто держал котов. — Он помолчал. — Я вам позвонил, чтобы вы не думали лишнего про девочку. С грядки пока не давайте, но не из-за котов. Из-за того, что я ещё не досмотрел.

Денис в понедельник приехал не в шесть, а в пять, вымытый, в чистой футболке, без Бурана, и с порога объявил, что Ксюшу берут Сафоновы смотреть кино на проекторе, а мы с ним едем на реку, потому что он хочет показать место, и это не то, что я думаю.

— А что я думаю?

— Не знаю. Плохое. У тебя вид, как у заведующей, когда она график смен составляет.

Место было за техническим выездом, где грунтовка спускалась к Вёртке и к мостику, и под мостиком был песчаный берег, метров пять, с корягой, и на коряге мы сидели, и Де-

нис достал из пакета хлеб, сыр, помидоры и бутылку вина, и штопора у него не было, и он проталкивал пробку внутрь ключом от пикапа и материл её вполголоса, чтобы не при мне.

— Я тебя сюда зачем привёз. Тут связи нет. Вышка за холмом, не берёт. Я сюда езжу, когда мне звонят.

— Кто звонит?

— Все. Бывшая, когда ей денег надо. Сын, когда ему денег надо. Галина, когда у неё воняет. Я приезжаю, сижу, никто не звонит, и я как человек.

— Ты и так как человек.

— Это ты меня мало знаешь. — Он разлил вино в стаканы из бардачка. — Я, Вер, бабу три года никуда не возил. Я не умею. Я вот сижу и не знаю, что надо говорить.

— Ничего не надо.

— Это ты так говоришь. А потом окажется, что надо было.

Мы ели сыр с помидорами, и он рассказывал про сына Макса, который служит и звонит раз в месяц, и говорит «норм, пап», и больше ничего, и про бывшую, Лену, которая ушла к начальнику автоколонны, потому что у того квартира в Коломне, а у Дениса цистерна, и про то, как в армии старшина научил его есть всё, что дают.

— У нас парень был, из-под Пскова, ему мать посылки слала, он всё раздавал, а я не брал. Мне не надо было.

— А он?

— А старшина увидел и говорит: Рябов, человек тебе от

себя отрывает, а ты морду воротишь. Я с тех пор беру. Галина мне яблок сунет, я ем. Марина пирога, я ем. Людям в лицо не плюют, Вер.

— А если дрянь дают?

— Тогда сам виноват, что дружишь с дрянью. — Он поставил стакан на корягу. — Вер. Я не знаю, как это делается. Я тебя поцелую, а ты если что, скажи.

— Что сказать?

— Чего-нибудь.

Я ничего не сказала. Он целовался осторожно, будто ему сейчас дадут по морде, а потом уже не осторожно, и от него пахло хозяйственным мылом, и вода под мостиком шла по камням, и у меня в кармане лежал телефон, который тут не ловил, и это было лучшее, что случилось со мной за год.

— Ну как?

— Нормально.

— Это хорошо или плохо?

— Это нормально, Денис. Вези домой. Ксюшу до одиннадцати держат.

— Успеем.

— Ты про что?

— Ещё раз.

Обратно мы ехали в темноте, с фарами, по грунтовке через поле, и перед самыми воротами технического выезда, где дорога была сухая и пыльная, фары выхватили поперёк дороги полосу. Мокрую, тёмную, шириной с ковровую дорож-

ку, от канавы до канавы, и она блестела и шевелилась по краям. Денис сбросил скорость.

— Это что?

— Дорога мокрая.

— Дождя не было.

— Езжай. Не останавливайся.

ГЛАВА 5.

20–22 июля

— Буран на террасе ночует, — сказал Денис и поставил миску с водой у двери. — Он в дом не пойдёт, он воспитанный. А я пойду, если ты не против.

— Я ещё не решила.

— Решай. Я подожду. Я три года ждал, час постою.

Ксюша ночевала у Сафоновых, Оля сама предложила: у них проектор, у Тимохи палатка во дворе, и «пусть дети хоть ночь без телефонов», и я согласилась раньше, чем подумала, зачем, а когда подумала, было поздно. Денис уже стоял у меня в кухне с бутылкой вина, со штопором, который купил специально, и с лицом мужика из приёмного, которому про жену ещё не сказали «всё хорошо».

— Ты чего, Вер.

— Ничего. Я тоже не умею. Я с Игорем восемнадцать лет, а до Игоря никого, считай.

— Значит, оба не умеем. Нормально. Разберёмся.

Разбирались мы долго и смешно. Он стукнулся головой о полку в Любиной спальне, сказал «ёб» и извинился перед полкой, и я смеялась так, что у меня свело щёку, и он пригрозил, что если я буду ржать, он уйдёт на террасу к Бурану, и не ушёл. Очки он положил на тумбочку рядом с Любиными, и две пары лежали вместе, и я смотрела на них, когда

он заснул, и думала, что Люба бы одобрила. Она говорила: Верка, мужик должен быть такой, чтобы с ним не страшно было в лесу. С этим было спокойно и в лесу, и в Любиной спальне, где в шкафу ещё висели её халаты.

Утром в семь в дверь стучала Ксюша. Я открыла, а Денис как раз шёл из душа в полотенце, и Ксюша оглядела его, полотенце и меня и вынесла приговор.

— Я так и знала.

— Что ты знала?

— Что ступеньки пять дней не делают. — Она прошла в кухню и полезла в холодильник. — Тимоха сказал, что его родители тоже так начинали. А потом он родился.

— Ксюша.

— Что? Я есть хочу. У Сафоновых на завтрак каша без сахара, у них Оля против сахара.

Денис ушёл одеваться и из комнаты крикнул, что он против сахара тоже, а Ксюша крикнула, что тогда пусть живёт у Сафоновых, и я стояла между ними с чайником и не вмешивалась.

Лев Аркадьевич позвонил в пятницу в девять утра, сказал «приходите, и Дениса возьмите, ему полезно», и мы пошли, оставив Ксюшу с Тимохой под присмотром Оли, которая мазала обоих от клещей так густо, что на них можно было жарить.

Дом у Льва Аркадьевича был маленький, в полтора этажа, самый первый на линии, и внутри это был не дом, а каби-

нет: книги до потолка, стол у окна, на столе микроскоп, настоящий, с двумя окулярами, и рядом ноутбук, к которому был подключён другой микроскоп, маленький, на штативе, с камерой, и на экране ноутбука была картинка, и в картинке шевелилось живое.

— Садитесь. Денис, не трогайте банки. Вера, смотрите на экран, в окуляры вы не поймёте, а на экране я вам покажу пальцем.

На экране была спина слизня, увеличенная так, что складки на ней были глубокие и тёмные, и по складкам лежала плёнка, молочная, и под плёнкой, Лев Аркадьевич показал ручкой, шли нити. Бледные, тоньше волоса, и они не лежали, а двигались, каждая сама: одна втягивалась в складку, другая вытягивалась из неё, третья лежала поперёк и сокращалась по всей длине, как дышит червяк, когда его положили на ладонь.

— Это черви?

— Это не черви. Это я не знаю что. — Он положил ручку. — Я их назвал спутниками, потому что надо как-то называть, а честного слова у меня нет. Они живут на нём, в слизи, под плёнкой. Он для них дом.

— И что они там делают?

— Живут. Смотрите дальше.

Он подвинул предметное стекло, и на экране пошла земля, частицы, волокна, и между ними лежала сеть, тонкая, белая, и она связывала всё: землю, слизь, край плёнки.

— Это гриб. Мицелий, грибница. Она в слизи, она в плёнке, она в самом слизи, я резал, она внутри. Она везде, Вера.

— И что это значит?

— Складываем. Моллюск, на нём плёнка, в плёнке живут спутники, и всё это пронизано грибом. И всё это, прошу заметить, живое и согласованное: когда я насыпал соли с краю, спутники ушли в складки раньше, чем соль дошла до них. Раньше. Они знали.

— Откуда?

— Не знаю. Я вам третий день говорю «не знаю», и мне это, поверьте, неприятно.

Он снял очки и протёр их краем рубашки, и без очков ему было лет девяносто.

— Это не зверь, Вера. Это не слизень, который стал большой и злой, как в кино. Это общежитие. Там много жильцов, они разные, и они договорились. С кем они ещё договорятся, я не знаю.

Денис стоял у двери, как ему велели, и не трогал банки, только смотрел на них так, что я бы на месте банок отодвинулась.

— Лев Аркадьевич, а по-простому. Их чем убить?

— Соль. Кипяток. Огонь. По одному, сколько угодно, я могу убить любого в этой банке за секунду.

Он показал на полку, где стояли банки с бумажками: пятый, девятый, четырнадцатый, тридцать первый.

— Но в банке один. А за хозблоком у Марины Николаевны

их столько, что соли в посёлке не хватит, и это только те, кто ходит. Кого-то мы не видели.

— Кого?

— Кто-то же их посылает ходить вереницей, Денис. Муравьи ходят вереницей, потому что у них есть муравейник.

Он надел очки и подвинул к краю стола толстую тетрадь в клеёнчатой обложке.

— Я записал всё, что видел, по дням. Мне семьдесят четыре, тетрадь на столе. Там нет выводов, там наблюдения. Выводы делайте сами.

— Лев Аркадьевич, вы ещё нас переживёте.

— Вера, вы медик. Вы знаете, что с каждым что-нибудь случится. Вопрос, когда и от чего.

Мы вышли на линию, и Денис закурил, хотя при мне не курил, и курил быстро, в кулак.

— Ты поняла что-нибудь?

— Что он боится.

— Он старый. Старые всего боятся.

— Он не всего боится. Он три дня говорит «не знаю» и за три дня ни разу не сказал «ничего страшного».

Артёма мы увидели в субботу у Сафоновых. Оля вызвала меня криком через два участка, таким криком, что я подумала про Тимоху, про клеща, про голову, и побежала, а Денис за мной, и во дворе у Сафоновых, у пластикового компостера, который Сергей купил весной за восемь тысяч и которым гордился, стоял на коленях Артём. В толстовке, в капюшо-

не, в очках, и он перебирал содержимое компостера руками. Не копал, а перебирал, брал горсть, подносил к лицу, одно откладывал в чёрный пакет, другое бросал обратно, и делал это быстро и внимательно, не глядя по сторонам.

— Артём! — Сергей стоял в трёх шагах с рулеткой в руке, потому что как раз мерил беседку. — Артём, ты чего делаешь?

— Беру.

— Что ты берёшь?

— Вот это. — Артём показал пакет, в котором лежало тёмное, мокрое, с корнями. — У вас тут перегнило. Вам не надо. Это надо ей.

— Кому ей?

— Земле. — Он завязал пакет, встал, отряхнул колени, тщательно, обе штанины, и поправил капюшон. — Мама сказала, у вас много. Я ещё приду.

— Куда ты придёшь? Сергей, скажи ему! — Оля стояла на веранде, прижав к себе Тимоху, который вырывался. — Пусть он уйдёт с участка! Пусть не трогает, он руками, у него руки, Господи, посмотри на его руки!

Руки у Артёма были до локтей в чёрном, и он посмотрел на них, как на чужие, и вытер о толстовку. Денис шагнул к нему, и Артём не отступил, а наклонил голову и ждал, и Буран, который пришёл с нами, остался за калиткой и не вошёл, хотя Денис его звал.

— Тём. — Денис говорил спокойно, как с пьяным. — Ты

сейчас домой пойдёшь. Пакет оставь.

— Пакет мой.

— Пакет Сергея. Это его компост. Ты у человека со двора взял.

— Ему не надо. — Артём поднял голову, и в чёрных стёклах ничего не было видно, только я сама и Денис, маленькие, вдвоём. — Вам всем не надо, вы это выбрасываете. А ей надо. Я беру, что вы выбрасываете, я ничего плохого не делаю.

Он пошёл к калитке с пакетом, и Денис не стал его останавливать, и Сергей не стал, и Буран отошёл от калитки на три шага, чтобы его пропустить, и зарычал только тогда, когда Артём прошёл, и рычал ему в спину до самой Марининой калитки.

— Это что было? — Сергей всё ещё держал рулетку. — Он больной?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.